



Пишущий правду, разумеется, должен вести постоянную борьбу с неправдой, но правда не должна у него превращаться в нечто многозначительное, высокопарное и абстрактное. Ведь именно неправде свойственны многозначительность, высокопарность и абстрактность.

Бертольт Брехт

Городок как Эйхкамп

Берлин — бесконечное море домов, в котором постоянно тонет целый поток самолетов. Это огромная серая скалистая пустыня, всякий раз меня восхищающая, стоит мне вновь туда попасть: Магдебург, Дессау, Бранденбург, Потсдам, зоопарк. Там возводятся метро с быстрыми поездами и автомагистрали; строятся сложные автотрассы и дерзкие телебашни. Это все новый, современный Берлин, техническая карусель изолированного города, которая кружится, управляемая изнутри сдержанным, лаконичным остроумием жителей, а снаружи — капиталом. Он красив и лучезарен, этот новый Берлин, но только тогда, когда я сижу на довольно пустой железнодорожной станции, а на запад несутся грязь и запустение из ГДР, я действительно чувствую себя дома.

Вот мой Берлин, ревущая, поющая греза моего детства, моя оставшаяся неизменной железная игрушка, которая, кажется, все еще говорит своим ясным, торопливо чеканящим голоском: ты здесь, ты действительно здесь, так всегда было, так всегда будет. Берлин — это отполированная до желтиз-

ны деревянная скамейка, твердая и начищенная до блеска, это забрызганное дождем грязное окно, это купе, в котором невыразимо пахнет железной дорогой. Это смесь из застывшего дыма, железа и тел рабочих, которые приходят из района Шпандау, набивая животы хлебом с маргарином. Когда-то в четырнадцать лет они побывали на конференции, а теперь каждый день читают утреннюю прессу. Берлин — все вышеперечисленное, еще грошовый автомат на продуваемой платформе, из которого можно достать мятные пастилки: белые и зеленые, завернутые в жесткую фольгу. Это стук электрических дверей и крик на вокзале Весткройц: «Осторожно, двери закрываются!» Никого это больше не пугает, никто не препятствует закрытию дверей, но объявление все еще здесь, и человек с сигнальным диском, и затем внезапный рывок с места. Берлин — это убогий желтый билет за пятьдесят пфеннигов. И сегодня за пятьдесят пфеннигов все еще можно добраться из Шпандау до столицы ГДР.

Я сижу в электричке, чтобы доехать до Эйхкампа. Я знаю, Эйхкамп не то, что нынче годится для темы репортажа. Вот сообщения о Берлине очень востребованы: напишите нам доклад о Берлинской стене или новой филармонии, о зале для конгрессов или рождественском рынке на той стороне улицы. Подобные темы всегда желанны. Но Эйхкамп? Что это такое? Что это значит? Он не указан ни в одном каталоге достопримечательностей Берлина; ни одного чернокожего вождя и ни одного американца, который прибыл через оке-

ан, чтобы счесть улицу Курфюрстендамм восхитительной, а Берлинскую стену отвратительной, не повезут в Эйхкамп. В сущности, в Эйхкампе нет ничего интересного, это всего лишь маленький, незначительный поселок между Нойвестендом и Груневальдом, такой же, как бесчисленное количество таких же поселков на окраинах большого города, где море домов медленно растворяется в лесах и сельских просторах. Собственно говоря, Эйхкамп — просто мое воспоминание. Это место, где прошло мое детство. Здесь я вырос, играл на улице в камушки, в прыжки, в классики, ходил в школу, а позже возвращался сюда из университета, чтобы поесть и поспать. Эйхкамп — это просто-напросто моя родина, которую я — чужак — хочу снова увидеть более чем двадцать лет спустя.

Я возвращаюсь как гражданин ФРГ. На сегодня я оставил свою работу и свою машину, весь свой собственный мир; я возвращаюсь один, но вовсе не потому, что считаю поиск воспоминаний детства успокаивающим и приятным занятием для взрослого человека. Какая отвратительная страсть для пожилого — впасть в детство; какое непристойное занятие для старика, который с трепещущим сердцем сидит на детских площадках, словно нашел тут тайное райское местечко. Эйхкамп не был для меня раем, и мое детство не было безоблачным. Эйхкамп был моей юностью при Гитлере, и я хотел бы его еще раз увидеть и наконец-то понять, как же там тогда жилось, во времена Гитлера.

Минуло не одно поколение. Все, что относилось к Третьему рейху — факельное шествие по улице Унтер-ден-Линден, звучавшее по радио ликование, упоение обновлением, — всего этого больше нет, все прошло и забыто. Даже талоны на хлеб, и бомбы над Эйхкампом, и гестапо, порой приезжавшее из центра города на черных машинах, — все это тоже давно забыто. Я так полагаю, теперь-то можно было бы суметь все понять. Теперь уже прошла целая жизнь: восторг и депрессия стихли, все стало совсем по-другому. Я гражданин ФРГ, я приехал из западной части, я еду в Эйхкамп, потому что меня мучает вопрос, как вообще жилось в те времена, которые мы все сегодня больше не в силах понять. Я полагаю, теперь-то уж можно в этом разобраться.

Возвращение в Эйхкамп мне порой снится. Эти сны тяжелые и страшные. От них я просыпаюсь около шести утра весь разбитый. Тридцать лет — это долгий срок, смена целого поколения, пора забыть прошлое. Почему же я не могу забыть?

Сон такой: я прибываю в Эйхкамп и стою перед нашим домом. Все стены в глубоких трещинах: дом пострадал от бомбежки. Маленький двухэтажный секционный дом на окраине Берлина, дешево и быстро построенный в двадцатые годы. Сейчас все наспех отремонтировано: хлипкие двери и окна, шаткий деревянный пол. В отцовском кабинете сидит моя мать и читает отцу вслух книгу. Эта комната маленькая, с низким потолком и обставлена в том неопишимо эклектичном сти-

ле, который в те времена звали бюргерским: склад барахла, обставленный фамильными реликвиями старых добрых времен. Круглый грибообразный столик с кружевной салфеткой, торшер с абажуром, дешевый сосновый письменный стол, угловатый и окованный латунными гвоздями. На потолке непомерно массивная люстра с длинными, низко свисающими хрустальными подвесками: семейная ценность из Буккова. Почти треть комнаты занимает огромный дубовый шкаф: еще одно семейное достояние из Штралау; мы его называли «шкафом в стиле барокко». Мой отец безучастно сидит за своим покрытым черным лаком письменным столом. Как всегда, перед ним разложены документы, как всегда, он чешет голову, свое «ранение»: Верден, 1916-й. Моя мать опускается в засаленное кресло, из которого торчит набивка, за тем самым круглым столиком; его мы звали «клубным креслом». Слабый свет лампы падает на книгу. Руки у нее узкие, длинные хрупкие пальцы нервно скользят по строчкам. У нее католические глаза: темные, доверчивые, выпученные и немигающие. Ее речь звучит словно проповедь. Она читает вслух книгу под названием «Моя борьба». На дворе конец лета 1933 года.

Нет, мои родители никогда не были нацистами. Вот почему этот случай кажется мне таким подозрительным. Они читали эту книгу господина нового рейхсканцлера с округлившимися от удивления глазами, как у детей. Читали со страхом и ожиданием: должно быть, в этом заключалась чудовищная немецкая надежда. У них не было ни-

каких других книг, только адресная книга Большого Берлина, Библия да один роман их молодости, популярный за двадцать лет до войны. Кроме этого, еще они слушали оперетты Пауля Линке, «Фрау Луна» и прочие, и в День святого Сильвестра «Летучую мышь» в Адмиралспаласте¹, да еще порой концерты по заявкам по радио; в крайнем случае увертюру «Донны Дианы». Мои родители были утешающе аполитичны, как и почти все эйхкамповцы в те времена. За двенадцать лет власти Гитлера я не встречал в Эйхкампе ни одного настоящего нациста. Именно это и тянет меня назад. Там жили сплошь послушные, прилежные семьи состоятельных граждан, несколько ограниченные и недалекие, представители среднего класса, пережившие ужасы войны и страсти инфляции. Теперь им хотелось покоя. В начале двадцатых люди стремились в Эйхкамп, потому что это был новый зеленый участок. В здешних садах еще росли сосны, до озера Тойфельсзее можно было добраться всего за четверть часа. Там дети могли купаться. Люди хотели выращивать в огороде овощи. В выходные жители с удовольствием поливали газон. Пахло здесь почти как на лоне природы. В городе в то время стояли золотые, безумные двадцатые годы: люди танцевали чарльстон и скоро начали отбивать чечетку. Там начали свое триумфальное шествие Брехт и Эйнштейн. Газеты сообщали об

¹ Адмиралспаласт («Адмиральский дворец») — культурно-развлекательный центр на Фридрихштрассе в берлинском районе Митте, сохранившийся с начала XX столетия. (Здесь и далее прим. ред.)

уличных боях в Веддинге¹, стычках на баррикадах возле здания профсоюза. Все это нас не касалось, мы словно были оторваны от века. Ужасные, непостижимые случаи нарушения общественного спокойствия. В Эйхкампе я рано усвоил, что порядочный немец всегда аполитичен.

Когда электричка прибывает на вокзал Эйхкампа, меня охватывает странное чувство. Вспомнить, забыть, снова вспомнить, годы сменяют друг друга: что это такое? То, что ты сейчас делаешь, тебе не в новинку, ты уже делал это однажды, всегда повторяется одно и то же: встаешь с отполированной до желтизны скамейки, берешь свои вещи с сетчатой полки, протискиваешься мимо незнакомцев, хватаешься за латунную ручку двери — большой палец сверху, затем медленно тянешь ручку направо, распахиваешь дверь. Чувство храбрости. Когда электричка резко несется к краю платформы, выходишь наружу, воздушный поток резко ударяет тебя в лицо, и тогда, пока вагон еще медленно катится, испытываешь огромный соблазн спрыгнуть. Я знаю, что это запрещено, — так написано на двери, это было запрещено еще при Гитлере, но сейчас я вновь ощущаю этот соблазн, столь неукротимо привлекавший меня еще в бытность учеником третьего класса гимназии. Если спрыгнуть в нужный момент и двигаться за счет центробежной силы, можно благодаря инерции одним прыжком сразу оказаться на лестнице, первым добраться до прохода, первым выбраться

¹ В е д д и н г — район Берлина в составе округа Митте.

на зеленую площадь, первым оказаться на дорожке, ведущей к поселку.

За тобой неторопливо идут эйхкамповцы. Пара мужчин с портфелями, инспекторы, служащие, чиновники, пожилая женщина в платье в крупный цветочек, ездившая за покупками в Шарлоттенбург или район зоопарка, уставшая и вперевалку бредущая к какому-нибудь маленькому домику; молодая девушка, приехавшая в гости к тете. Молодые парни с футбольными бутсами под мышкой, сразу сворачивающие направо, потому что там находится спортплощадка. Раньше они одевались в синие футболки. Это были еврейские мальчишки, ходившие тут, в Эйхкампе, на спортплощадку сионистов.

Ну, да что за время? Что вспоминать? Как так может быть, что ты сейчас повторяешь все так, словно тебе снова четырнадцать? Четыре года посещал начальную школу в Эйхкампе, девять лет — гимназию в Груневальде, в течение девяти лет каждый день прыгивал с электрички, а над Эйхкампом реяла свастика; сперва скепсис, потом радостное согласие, поскольку у нас все снова шло в гору. Уехали Катценштейны, Шиксы и Виттковски. Никто этого даже не заметил. Это были наши хорошие евреи; плохие жили вокруг Алекса.

Каждый эйхкамповец считал по меньшей мере хотя бы одного еврея хорошим человеком. Моя мать предпочитала еврейских врачей. Мол, они такие чуткие. В то время в Эйхкампе жил Арнольд Цвейг. Модная плоская крыша его дома не соответствовала немецким стандартам, и после его бег-

ства ей сразу добавили германский торец. Людвиг Маркузе жил в трех домах от нас и в 1933-м тоже сбежал. Никто даже внимания не обратил. Напротив нас жила Элизабет Ланггессер. Она иногда заходила к нам, чтобы послушать радиостанцию «Беромюнстер». Она всегда говорила, что через три-четыре месяца Гитлер «прогорит». Мол, это же очевидно. Она верила в это двенадцать лет. И была убеждена до самого конца.

И затем день первой продовольственной карточки. 1 сентября 1939 года. Я стою перед магазином и внезапно не могу больше купить то, что хотела моя мать. Масло по рации, хлеб по карточкам. Эйхкамповцы раздраженно заглядывают внутрь. Разве не так было в 1917-м? Затем первый самолет. Я стою в саду и слышу, как в воздухе с ревом проносятся три английских самолета. Ланггессер подходит к забору. Она маленькая, коренастая, по-французски покрашенная и носит очки в роговой оправе с толстыми стеклами. Когда она идет по нашей улице, дети кричат ей вслед: «Вот идет размалеванная девица, вот идет размалеванная девица!» И Ланггессер говорит мне:

— Это наши освободители, Хорст, уж поверь мне, — и при этом, близоруко моргая, критически смотрит на небо.

А затем бомбежка над поселком, потом русские, которые тут тоже стреляют, тоже вламываются в дома, тоже говорят: «Госпожа, пройдемте с нами!» Разве Эйхкамп заслужил такое? Затем пришли англичане и голодные годы, подремонтированные дома, время расцвета черного рынка,